

МАКС ШТИРНЕР

*ЕДИНСТВЕННЫЙ
И ЕГО СОБСТВЕННОСТЬ*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

Ничто — вот на чем я построил свое дело

Чего-чего только я не должен считать своим делом. Во-первых, дело добра, затем дело Божие, интересы человечества, истину, свободу, гуманность, справедливость, а далее — дело моего народа, моего государя, моей родины; наконец, дело духа и тысячи других дел. Но только мое не должно стать моим делом. «Стыдно быть эгоистом, который думает только о себе».

Посмотрим же, как относятся к своему те, делу которых мы должны служить с преданностью и воодушевлением.

Вы все можете поведать много весьма существенного о Боге, уже тысячи лет как «вникают в глубины божественного», заглядывают в самое сердце тайны. Так, вероятно, вы можете сказать нам, как Бог сам ведает дело Божие, которому мы призваны служить? Вы не скрываете образ действия Бога. В чем же его дело? Сделал ли он, как требует от нас, какое-нибудь чужое дело, дело истины и дело любви, своим? Вас возмущает это непонимание, и вы нас поучаете, что, конечно, дело Божие вместе с тем и дело истины и любви, но что это дело никак нельзя назвать чужим ему, ибо Бог сам истина и любовь. Вас воз-

мущает предположение, что Бог мог бы уподобиться нам, жалким червям, служа чужому делу, как своему. «Да неужели же Бог взял бы на себя дело истины, если бы он сам не был истиной?» Он заботится только о своем, но так как он все во всем, то все его дело. Мы же вовсе не все во всем, наше дело малое и презренное, поэтому мы должны служить высшему. Ну, вот теперь ясно. Бог заботится только о своем, занят только собой, думает только о себе и только себя имеет в виду; горе всему, что не находит благоволения в его глазах. Он не служит высшему и сам себя удовлетворяет. Его дело чисто эгоистическое.

Ну а как обстоит с человечеством, дело которого должно стать нашим? Разве это тоже дело кого-нибудь другого, разве человечество служит чему-нибудь высшему? Нет, человечество видит только себя, заботится только о человечестве, знает только одно дело — свое собственное. В целях своего развития оно измучивает, заставляя служить себе целые народы, так же как и отдельные личности, а когда они свершили то, что требует от них человечество, то их из благодарности выбрасывают в мусорную яму истории.

Так разве дело человеческое не чисто эгоистическое?

Нет надобности показывать на примере любого дела, которое нам хотят навязать, что всякий раз речь идет о чужом, а не о нашем благе. Взгляните на все. Чего требуют истина, свобода, гуманность, справедливость, как не того, чтобы вы воспламенялись ими и служили им?

Конечно, отлично, если есть преданные слуги. Взгляните, например, на народ, который охраняют

преданные патриоты. Патриоты падают в кровавой битве или в борьбе с голодом и нуждой, но какое дело до этого народу? Их трупы удобряют почву для «цветущего народа». Отдельные личности умерли «для великого дела народного», народ поминает их несколькими словами благодарности, и вся выгода на его стороне. Вот это доходный эгоизм.

Но взгляните-ка на султана, который так любовно печется о «своих». Разве он не само бескорыстие, разве он ежечасно не приносит себя в жертву «своим»? Да, именно «своим». Попробуй-ка стать не его собственностью, а «своим»; за то, что ты уклонился от его эгоизма, ты легко попадешь в темницу. Султан построил свое дело не на чем другом, как на себе: он для себя — все во всем; он — единственный и не потерпит никого, кто отважился бы не быть его собственностью.

Неужели же эти блестящие примеры недостаточно доказали вам, что лучше всего живет эгоистам? Что касается меня, то я научен и вместо того, чтобы и далее бескорыстно служить великим эгоистам, лучше сам стану эгоистом.

Бог и человечество поставили свое дело не на чем ином, как на себе. Поставлю же и я мое дело только на себе, ибо я, так же как Бог, — ничто всего другого, так как я — мое «все», так как я — единственный.

Если Бог, если человечество, как вы уверяете, имеют достаточно содержания в себе, чтобы быть всем во всем, то и я чувствую, что мне еще менее будет недоставать содержания, что мне не придется жаловаться на «пустоту». Я ничто не в смысле пустоты: я творческое ничто, то, из которого я сам как творец все создам.

Долой же все, что не составляет вполне Моего. Вы полагаете, что моим делом должно быть по крайней мере «добро»? Что там говорить о добром, о злом? Я сам — свое дело, а я не добрый и не злой. И то, и другое не имеют для меня смысла.

Божественное — дело Бога, человеческое — дело человечества. Мое же дело не божественное и не человеческое, не дело истины и добра, справедливости, свободы и т.д., это исключительно мое, и это дело не общее, а единственное, так же как и я — единственный.

Для Меня нет ничего выше Меня.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧЕЛОВЕК

«Человек человеку — высшее существо», — говорит Фейербах.

«Человек только теперь найден», — говорит Бруно Бауэр.

Рассмотрим же поближе это высшее существо и эту новую находку.

1. Человеческая жизнь

С той минуты, как он открывает глаза на свет, человек старается найти себя, приобрести себя в том водовороте, в котором он кружится вместе со всем остальным.

Но, с другой стороны, все, что приходит в соприкосновение с ребенком, обороняется от него и утверждает свое собственное существование.

Поэтому, так как все стоит за себя и вместе с тем вступает в постоянные столкновения со всем другим, становится неизбежной борьба за самоутверждение.

Победить или пасть — между этими двумя противоположностями колеблется исход борьбы.

Победитель становится господином, побежденный — подданным: победитель приобретает величие

и пользуется «правами величия», подданный исполняет благоговейно и почтительно «обязанности подданного».

Но они остаются при этом врагами и постоянно держатся настороже: они высматривают слабости друг друга, дети — слабости родителей, родители — детей (например, их страх), палка побеждает человека или же человек побеждает палку.

В детстве путь освобождения таков, что мы стараемся проникнуть в основу всего, узнать, «что за этим кроется», поэтому мы подглядываем у всех их слабости — как известно, дети отличаются большой чуткостью в этом отношении. Поэтому мы любим ломать предметы, шарить по затаенным углам, высматривать все скрытое и запретное, поэтому мы за все беремся. Когда мы узнаем, в чем тут дело, мы начинаем чувствовать себя в безопасности. Когда мы, например, уясняем, что розга слишком слаба, чтобы сломить наше упрямство, мы перестаем ее бояться: мы «переросли розгу».

Мы видим тогда, что за розгой кроется нечто более сильное — упорство, наша упорная отвага. Постепенно мы разгадываем все, что казалось нам страшным, убеждаемся, что за пугавшей нас властью розги, за строгим лицом отца есть нечто более сильное — наша атараксия, непреклонность, бесстрашие, наша сила сопротивления, наше превосходство, наша несокрушимость, и мы уже не отходим боязливо от того, что внушало нам страх и почтение, а преисполняемся смелостью. За всем мы находим нашу смелость, наше превосходство; за суровым приказом начальства и родителей стоит наша смелая воля или наш перехитряющий ум. И чем больше мы

сознаем себя, тем более слабым нам представляется то, что казалось прежде непреодолимым. А что такое наша хитрость, наш ум, наше мужество, наше упорство? Не что иное, как дух.

Довольно долгое время проходит для нас еще свободным от борьбы, которая так захватывает нас потом, — от борьбы против разума. Лучшая пора детства протекает без необходимости сражаться с разумом. Нам просто нет дела до него, мы не считаемся с ним, не принимаем его доводов. С нами в ту пору ничего нельзя поделаться путем убеждения: мы глухи к доводам, принципам и т.д. Но зато мы с трудом можем устоять против ласк, наказаний и всего другого в этом роде.

Эта тяжкая жизненная борьба с разумом начинается лишь позже и означает новую пору развития; в детстве же мы резвимся и не стараемся мудрствовать.

Дух — первое самонахождение, первое обезбоживание божественного, то есть страшного, волшебного, «высших сил». Наше молодое самосознание ни перед чем не преклоняется: мир обесславлен, ибо мы — над ним, мы — дух.

И тогда только мы видим, что до того не глядели на мир духовно, а лишь глазели на него.

Наши способности мы проявляем прежде всего в борьбе со стихийными силами. Власть родителей мы признаем как стихийную силу; но потом мы решаем: нужно оставить отца и мать, нужно объявить крушение стихийных сил. Мы преодолели их. Для разумного, то есть «духовного человека», семья как духовная сила не существует, и это выражается в отречении от родителей, сестер и братьев и т.д. Если же они «воскресают» как духовные разумные силы, то они уже совсем не то, что были прежде.

Молодой человек преодолевает не только родителей, но и людей вообще: они для него не составляют уже препятствия, и он уже не считается с ними; нужно более повиноваться Богу, чем людям, — говорит он.

Когда глядят на все с такой высоты, все «земное» отступает в презренную даль, ибо эта высота — небесная.

Положение теперь совершенно меняется: юноша относится ко всем духовно, в то время как мальчик еще не ощущал себя как дух; он рос и учился вне духовности. Юноша не стремится овладеть фактическим, действительным; он, например, не старается уместить в голове исторические даты, а хочет постичь мысли, скрыться за внешними фактами, хочет овладеть духом истории; мальчик же, напротив, понимает соотношения, но не идеи, не дух, поэтому он нанизывает одно к одному все, чему нужно научиться, но не мыслить априористически и теоретически, то есть не ищет идей.

Если в детстве приходится преодолевать противодействие мировых законов, то потом, в юности, наталкиваются во всем, что задумывают делать, на возражения духа, разума, собственной совести. «Это безрассудно, это не по-христиански, непатриотично» и т.д., — говорит нам совесть, отпугивая от задуманного. Не власти эвменид боимся мы, не гнева Посейдона, не Бога, зрящего скрытое, не наказующей розги отца, а совести.

Мы «предаемся теперь нашим мыслям» и следуем их велениям, как прежде повиновались велениям родительским и человеческим. Наши действия соотносятся с нашими мыслями (идеями, представлениями, верой), как в детстве с приказами родителей.

Однако и будучи детьми, мы тоже думали, только мысли наши были не бесплотные, не отвлеченные, не

абсолютные; они не были исключительно мыслями, небом сами по себе, чистым миром мыслей, логическими мыслями.

Напротив, все это были мысли о вещах: мы представляли себе что-нибудь так или иначе. Например, мы думали: мир, который мы видим, создан Богом, но мы не вникали мыслью (не «исследовали») в «глубины самого божества». Мы думали затем: «Вот в чем истина в данном случае, но мы не думали о самой истине и не соединяли эти две мысли в одну, не говорили себе: «Истина — это Бог». «Глубины Божества, которое и есть истина», мы не касались. На таких чисто логических, то есть богословских вопросах, как: «В чем истина», Пилат не останавливается, хотя в отдельном случае он и хочет разгадать, в «чем тут истина», то есть — истина ли это.

Всякая мысль, связанная с чем-нибудь предметным, уже не только мысль, не абсолютная мысль.

Выявить чистую мысль или отдаться ей — в этом радость юности, и все светлые образы мира мыслей, такие, как истина, свобода, человечность, человек и т.д., освещают и вдохновляют молодую душу.

Но когда самым существенным признан дух, то большая разница, беден ли дух или богат, и поэтому стараются обогатиться в духе: дух хочет расшириться, основать свое царство, царство не от мира сего, не от только что преодоленного мира. Так как он стремится стать всем во всем, то есть хотя я — дух, но я все же не совершенный дух и должен еще искать совершенный дух.

Но этим я, только что нашедший себя как дух, снова теряю себя тем, что преклоняюсь перед совершенным духом, как не перед моим собственным,

а потусторонним собой, то есть чувствую свою пустоту.

Хотя все и сводится к духу, но разве всякий дух «настоящий»? Настоящий, истинный дух — идеал духа, «святой дух». Он не мой и не твой дух, именно — идеальный, потусторонний; он — «Бог». «Бог есть дух». И этот потусторонний «Отец небесный даст Духа Святого просящим у него» [*Евангелие от Луки, 11, 13*].

Возмужалый человек тем отличается от юноши, что принимает мир, каким он есть, вместо того чтобы все в нем осуждать и исправлять, стараться переделывать его сообразно своему собственному идеалу. В зрелом человеке укрепляется взгляд, что нужно руководствоваться своими интересами, а не своими идеалами.

Пока человек сознает себя только духом и ценит в себе только то, что он дух (юноше легко отдать свою жизнь, то есть свою «плоть», за ничто, за самое вздорное оскорбление чести), до тех пор у него есть только мысли, идеи, которые он надеется осуществить когда-нибудь, когда найдет подходящую сферу деятельности; значит, у него есть тогда только еще идеалы, неосуществленные идеи и мысли.

Лишь тогда, когда человек полюбит себя во плоти, таким, каков он есть — а это наступает только в зрелом возрасте, — у него является личный, или эгоистический, интерес, то есть интерес к удовлетворению не только духа, но и всего человека, своекорыстный интерес. Сравните возмужалого человека с юношей: он наверняка покажется вам более жестким, менее великодушным, более корыстным. Но разве от этого он становится хуже? Вы говорите, что нет, что он сделался только более твердым, или, как вы обычно го-

ворите, более практичным. Главное же то, что он гораздо более считает себя центром всего, чем юноша, который «мечтает» о другом, например о Боге, отчизне и т.п.

Возмужалость, таким образом, означает второе самонахождение. Юноша нашел себя как дух и потерял себя во всеобщем духе, в совершенном святом духе, в человеке как таковом, в человечестве, короче говоря, во всех идеалах; возмужалый же человек находит себя как духа во плоти.

Мальчики имеют только недуховные, то есть бессмысленные и безыдейные интересы, юноши же — только идейные, а возмужалый человек — плотские, личные, эгоистические интересы.

Если у ребенка нет предмета, которым бы он мог заняться, он скучает, ибо собой он еще не умеет заниматься. Юноша же, напротив, устраняет предметы, потому что из предмета у него возникли мысли: он занят своими мыслями, своими мечтами, занят духовно, другими словами, «его дух занят».

Все недуховное молодой человек объединяет под презрительным названием «внешнего». Если же он и сам привержен к мелочным внешним интересам (например, к соблюдению корпоративно-студенческих и других формальностей), то лишь потому и тогда, когда он открывает в них дух, то есть когда они становятся для него символами.

Так же как я нахожу себя за существующим, как дух, так я потом должен обрести себя и за мыслями — как их творец и собственник. В период духовности мысли перерастали меня, хотя я же был их творцом, они носились надо мной и потрясали меня, как страшные образы горячечного бреда. Мысли вопло-

тились, стали призраками, как Бог, государь, папа, отчизна и т.д. Разрушая их воплощенность, я принимаю их обратно в себя и говорю: только я воплощен. И тогда я принимаю мир как то, чем он является для меня, как мой, как мою собственность: я отношу все к себе.

Если я, как дух, отбрасывал мир с величайшим презрением к нему, то теперь, как собственник духов или идей, я ввергаю духов или идеи обратно в их сущность.

Они уже не имеют власти надо мной, так же как не имеет власти над духом никакая «сила земли».

Ребенок жил реальностями, он был во власти земного, пока ему не удалось разгадать мало-помалу, что стоит за всем; юноша был идеалистом, его воодушевляли мысли, пока он не достиг возмужалости, не сделался эгоистическим зрелым человеком, который по своему произволу распоряжается реальностями и мыслями и ставит свой личный интерес выше всего. А что же старец? Об этом будет время поговорить, когда я состарюсь.

2. Люди древнего и нового миров

Как развивался каждый из нас, к чему стремился, чего достигал, в чем терпел поражение, какие цели прежде преследовал и какие планы и желания владеют его сердцем в данную минуту, какие перемены свершались в его воззрениях, какие перевороты в его принципах, словом, как он сделался сегодня таким, каким не был вчера или год тому назад, — все это он с большей или меньшей легкостью извлекает из своей памяти, тогда только он особенно живо чувствует про-

исшедшие в нем самом перемены, когда перед его глазами развертывается чья-нибудь чужая жизнь.

Поглядим же на ту жизнь, которую вели наши предки.

Древние

Так как принято называть наших дохристианских предков «древними», то не станем подчеркивать, что их следовало бы назвать детьми по сравнению с нами, опытными людьми, и будем чтить их по-прежнему как «древних». Но как же они дошли до того, что устарели, и кто смог вытеснить их, выдавая себя за новых?

Мы хорошо знаем того революционного новатора и непочтительного наследника, который уничтожил даже субботу отцов своих, чтобы освятить свое воскресение, и остановил бег времени, чтобы начать собой новое летоисчисление. Мы знаем его и знаем, что он — Христос. Но останется ли он вечно юным, и нов ли он еще и ныне или же он тоже устареет, как из-за него устарели древние?

Очевидно, сами же древние родили на свет молодого, который их похоронил.

Поглядим, как произошло рождение нового.

«Для древних истиной был мир», — говорит Фейербах, но он забывает сделать весьма важное дополнение к этим словам: истиной, неистинности которой они хотели дознаться и наконец действительно дознались. Легко понять, что следует понижать под словами Фейербаха, если сопоставить их с христианским изречением о «суетности и бренности мира». Христианин никогда не может убедиться в суетно-